

[Оглавление](#)

# Лидия Волконская Прощай, Россия! (Моя жизнь)

## Предисловие

Уже кончая эту книгу, я вдруг стала бояться ее. Бояться, что нарушила покой тех, кого уже в этом мире нет, что заставила их говорить вновь, когда-то сказанные ими слова, переживать вновь, когда-то скрываемые ими мысли и чувства, разбудила утихшую их боль, угасшую любовь, страдания...

Да простят они мне это дерзкое вторжение в великое таинство их жизней.

## ЧАСТЬ I

### Глава 1. Первые и лучшие годы

Оттого что было много событий, слишком много для одной человеческой жизни, что бежали они быстро: как в калейдоскопе менялись люди, страны, города, дороги - дороги без конца, и что не было времени или желания задержаться и посмотреть на них; - поэтому теперь, когда я остановилась на одном пункте, словно предлагая мне оглянуться и посмотреть на нее издали и в первый раз, наверное поэтому прошлое встает так живо и четко, что заставляет меня снова переживать его.

Я родилась в Косейске. Там стоял на раздорожье, наклонясь, посерев от старости и покрывшись глубокими трещинами, высокий деревянный крест. Украшали его маленькие, вышитые крестьянками, переднички. А вокруг креста, как сияние, вибрирует знойный воздух. Солнце так жжет, что Маша, моя старенька няня, защищает меня от него своей тенью, а в узенькой тени креста старается спрятать свою, покрытую чепчиком голову. - Это бессмертники, они никогда не увядают, - говорит Маша, указывая на полевые, сухие цветочки, желтеющие у подножья креста.

"Какое странное и длинное слово", - думаю я, недоумевая, как это возможно его выговорить... Мне около четырех лет.

Вскоре папа продал Косейск, и мы переехали в Ромейки.

\*\*\*\*\*

Большой вокзал. Зал ожидания; за рядами высоких окон, расположенных на его двух противоположных стенах, проходят поезда. Столы в зале покрыты белыми скатертями и украшены пальмами. Множество людей входят, выходят, гремят стульями. Шумно. Но мне около папы и мамы за столом, на который нам подают вкусный ужин, не страшно. Вошел человек с блестящими пуговицами и колокольчиком в руке.

- Брянск! Брянск! - закричал он, и колокольчик звонко повторил: "Брянск, брянск, брянск".

В Ромейках мы с Володей, моим на один год младшим братом, вбежали в возовню. Там, на длинном возу, среди огромной кучи упакованных и обвязанных веревками вещей, торчал мой высокий стульчик. Попробовали его вытащить, но на наши головы посыпались какие-то мелкие вещи. А стульчик так мне нужен. На него Маша всегда садит меня за стол так высоко и удобно. Иногда, когда я, гордая этой высотой, восседаю напыжившись на нем, в комнату входит Катька горничная и, став у порога, смотрит на меня ни на минуту не отводя глаз, насмешливо и в упор. Мне от этого становится неловко, я начинаю вертеться, а потом, обиженно оттопырив нижнюю губу, всхлипывать и жаловаться:

- Маша, Маша, она на меня смотрит!

- Ах, ты лупоглазая, что уставилась твоими паскудными глазенками на дитяню! Еще, сохрани Господи, сглазишь мне Лидончика. Убирайся отсюда, убирайся вон! - и Маша, стоя на одном месте, топает ногами, и грозит ей кулаком.

Маша очень любила меня. Мама мало занималась мною, а вырастила и избаловала меня Маша. Она шила мне из тряпок куклы с длинными волосами из прядей льна и разрисованными лицами. Я их любила больше чем покупные. Сказки, которые она мне рассказывала, мешались у нее как-то с действительностью.

- Подожди, Лидончик, подожди. Вот вырастешь ты красавица, приедет князь, привезет сундуки всякого добра. Выйдешь ты за него замуж, а я, в то время уже на другом свете буду Бога молить за тебя, - заканчивала Маша, всхлипывая и вытирая ладонью слезы. А мне совсем не жалко ее: "на том другом свете может быть еще лучше чем на этом, а мне здесь с князем тоже не плохо будет", думала я.

Володя забавлялся иначе. Раз, когда мы бегали с ним в саду, он так раздражил большого черного индюка, что тот напал на него, повалил на землю и стал клевать. В ужасе я бросилась домой, забила в угол за диван и, дрожа всем телом, боялась произнести хоть малейший звук. Потом мне выговаривали, почему я ничего не сказала. От жалости к Володе, стыда и раскаяния, я горько и неутешно плакала. Удивительно, но и потом, всегда так бывало: я в минуту опасности убегала, а Володя оставался и за все отвечал. Было ли это потому, что он не успевал (он был немножко мешковат) или потому, что не боялся и хотел знать, что из этого всего получится; не знаю, вернее последнее. Когда мы подросли, то стали бегать и дальше, к речке, к лесу, к кошарам, загороженным

забором в три жерди. Там бегала летом масса лошадей. Некоторые из них были совсем в диком состоянии. Выждав, когда поблизости никого не было, мы с полными карманами сахара, подбирались к более спокойным и старым. В то время, как одна из них слюнявила своими бархатными губами мою ладонь, Володя ловил ее за гриву и тянул к забору. Подойдя, Володя взбирался на него, а оттуда, с моей помощью, на спину лошади. Вцепившись обеими руками в ее гриву, он колотил ногами о ее бока до тех пор, пока лошадь не начинала бежать. Надо мной он смеялся, так как я боялась проделывать то же самое.

Папа, большой любитель лошадей, привез нам через некоторое время из Москвы с выставки два детских седла. Володе мужское маленькое, а мне дамское. Седлал мою "Белоножку" наш главный кучер Юрко. Он сам подводил ее к крыльцу, проверял еще раз хорошо ли натянуты подпруги, подставлял мне руку, я становилась на нее ногой, а другую сразу же закидывала на седло, цепляясь ею за луки. Володя вскарабкивался всегда сам. Выехав и отдалившись от усадьбы, мы, несмотря на все запреты и угрозы, пускали лошадей во весь галоп, так что только ветер свистал в ушах да трепал гривы лошадей и мои, распустившиеся, волосы. Я часто перегоняла Володю, что доставляло мне большое удовольствие, так как во всем другом я не могла с ним сравняться. Мы жили, росли, часто играли вместе, но все у нас выходило как-то по-разному. Зато какая была радость, когда мама нашла под капустой мне сестренку, а то я почти всегда была одна. С дворовыми мне строго запрещали играть: они говорили нехорошие слова, а раз даже научили меня сказать маме неправду.

Однажды, после только что прошедшего над Ромейками дождя, мы с Володей, удрав от француженки и сняв сандали, бегали по стекавшим ручейкам и лужам дороги, брызгая с наслаждением во все стороны водой.

- Удирай, удирай, скорее! - вдруг закричал Володя, - кто-то едет! - Нырнув в кусты и заглядывая из-под них, мы увидели четверик наших лошадей, запряженных по обыкновению в ряд, как в колеснице, Юрко высоко на козлах, а в экипаже какую-то даму в шляпке. Не знали мы тогда, что кончилось наше привольное детство.

Дама эта, Марья Ивановна, наша дальняя родственница была классной дамой в Мариинском училище. Все лето она подготавливала нас к экзаменам, а осенью забрала с собою меня в Мариинское, а Володю в мужскую гимназию, находившуюся в том же городе. После свободного простора Ромеек, Мариинское показалось мне чем-то чуждым, угнетающим.

\*\*\*\*\*

Усталый камнями, квадратный двор окружен с трех сторон стенами огромного, построенного как каре здания. Длинные ряды окон смотрят со стен на этот двор. В нем, как в клетке, заключено много таких девочек как я. Они разговаривают, смеются, рассматривают пестрый узор ковровых цветов покрывающий круглую, большую клумбу посреди двора. Однако они не совсем похожи на меня. Девочки эти наверное городские, не из таких Ромеек, как наши. Они беленькие, уверенные в себе, не такие дикие как я,

не стесняются, оглядывают друг друга критически.

"Хоть бы на меня не посмотрели" думаю я. У меня волосы растрепаны, туфли зашнурованы не в ту дырку, с платьем тоже, кажется, что-то не в порядке. Я не умею одеться без Маши. Сконфуженно я жмусь в стороне, пугливо оглядываясь, куда бы спрятаться.

- Ты чтож такая черная? - вдруг, откуда не возьмись, послышался надо мною голос девочки уже постарше.

- Неужели ты так загорела? - удивляется она, - уж не арабченок ли ты? С африканских джунглей, что ли приехала сюда?

Растерявшись, я чуть не плачу. К счастью звонок. Все заторопились по классам. В длинном коридоре множество дверей. Девочки разошлись. Я одна не знаю, где мой класс. Какая-то классная дама указала мне его и успокоила. После урока звонок, потом опять и опять. Целый день звонки за звонками. Все время разделено ими по часам, по минутам.

После уроков, перед обедом, прогулка в сад. Длинная аллея из прозрачных ясеней делит его пополам. Много дорожек, тенистых уголков, кустов сирени и жасмина. В конце сада оранжереи и фруктовые деревья. Сад и вся усадьба обнесена высокой каменной стеной с острым, битым стеклом на верхушке. Позднее я узнала что ничто из потустороннего мира через эту стену внутрь никогда не проникало.

Вечером ученицы в классах готовят уроки на следующий день. Уже спокойнее, звонков меньше. Последний на вечернюю молитву. В большой зале, с двумя рядами колон, полумрак. Освещенная тихим светом лампадки, выступает в углу большая икона Божьей Матери. Девочки стоят, выпрямившись, правильными рядами. Каждый класс образует отдельный прямоугольник. Впереди младшие, за ними старшие. Все хором поют: "Под Твою милость прибегаем"...

В спальне моя кровать почти в начале бесконечного ряда других. Зарывшись с головой под одеяло, носом в подушку, задыхаясь от слез, беззвучно шепчу: Маша! Маша! И так каждый вечер.

- И что это ты все плачешь? - спустя три-четыре вечера услышала я над собой, - не плачь, а то и я буду.

Наклонясь, около меня стояла девочка с соседней кровати.

- Домой хочу, - всхлипывала я.

- А где твой дом? - участливо спросила она.

- В Ромейках.

- Ну не плачь, завтра я тебе покажу что-то, когда пойдем гулять в сад.

Так началось знакомство с первой моей подругой Ксенией. Потом у меня их было много, но эта осталась навсегда самой близкой. И все же первое время я до того тосковала, что перестала есть, похудела и так кашляла, что в виде исключения, меня на три дня отпустили домой. Это совпало с каким-то праздником. В Ромейках я почувствовала себя, как рыба, долгое время задыхавшаяся на берегу и, наконец, попавшая опять в воду. После этой передышки все в Мариинском показалось мне лучше. Обстановка была уже известна, девочки знакомы, и до Рождества было не далеко. Рождество, Пасху и три месяца летних каникул мы проводили в Ромейках. С каким нетерпением вычислялись недели, дни, часы, оставшиеся до этого времени. Наконец - РОСПУСК!!! - писалось огромными буквами на классной доске. Марья Ивановна усаживала меня и Володю (время нашего роспуска совпадало) в поезд, который без пересадки шел в Антоновку,

нашу станцию.

Приезжали туда ранним утром. Выйдя из вагона, мы стремглав бежали к подъезду, где уже стояли у ступенек, с трудом сдерживаемые Юрком, наши лошади, нетерпеливо гребя копытами снег.

Юрко и Данило, его сын, закутывали нас в шубы. Володю в папину соболью шинель, меня в мамину, на черном пушистом меху. На ноги еще клали волчью полость. Края ее Данило старательно подворачивал, чтобы не поддувало. Выехав из окружающего станцию леса, мы с замирающим сердцем искали глазами уже оттуда, за десять верст, видневшиеся верхушки ромейских пирамидальных тополей.

- Юрко, что это мы так медленно едем? Нельзя ли поскорее? - спрашивала я, сгорая от нетерпения.

- Никак нельзя, барышня. Ночью снег выпал. Дорога еще непроезженна, вишь какие сугробы намело.

И действительно, окутанные облаками пара, лошади фыркают от попадающего им в ноздри снега и с трудом вытаскивают из него вязнущие выше колен ноги. Ближе к деревне, дорога более проезжена, а в ней и совсем гладкая. Полозья легко скользят, посвистывая, но быстро тоже не поедешь. То там, то сям скрипят ворота, и бабы, перекинув через плечи коромысла и ловко балансируя висячими на них ведрами, перебегают улицу. В деревне повеяло теплом и духом печного хлеба. У обледенелых колодцев топчутся в недоумении гуси, словно стараясь выдавить изо льда воду и обогреться в еще косых лучах, поднимающегося солнца. Тявкают собаки, горланят петухи. Над крышами из труб вьется к небу тоненькими веревочками дым.

За деревней Сворыни надо переехать мост через речку, высокий, длинный и опасный. В нем много дыр от прогнивших бревен, а целые поднимаются и опускаются, как клавиши у рояля. Лошади, проходя по мосту, испуганно перебирают ногами, жмутся друг к другу, косясь на неогороженные перилами края его. За мостом еще поле, потому уже наша роща, дуб на краю дороги и, наконец, приехали!

На крыльцо выбегают горничные, вытаскивают нас из саней и еще закутанных в шубы вносят в переднюю. Какое блаженство - мы дома! В передней тепло, уютно. Дверцы у печки стучат от жарко пылающего за ними огня. Маша моя со слезами радости:

- Лидончик мой, светик мой ясный! Выросла то как, выросла. Дождалась я тебя. Думала, не увижу больше. Все хворала.

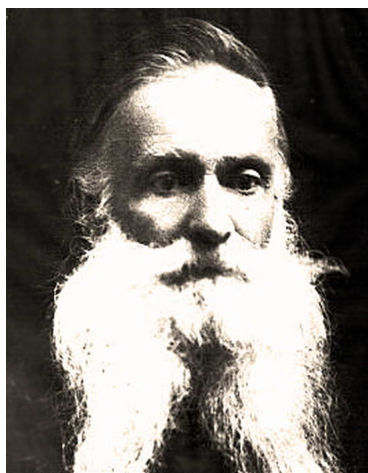
В столовой папа и мама оглядывают нас с заботливой нежностью и, целуя, спрашивают:

- Ну как доехали, спали в поезде, не замерзли? Чаю, скорее чаю, согрейтесь.

На наших стульчиках Леля и Маруся наши сестренки, мы с Володей перешли уже на большие. Оглядываемся. Все по-прежнему, все так же. На столе кремовая скатерка, Машины булочки, самовар, мирно напевая, кипит попыхивая паром. На стене часы, они тикнув, задержатся перед тем как отбить время, словно задумавшись о прошлом и чего-то ожидая от наступающего. За стеклом буфета тот же пузатый графинчик, обставленный рюмочками, папин серебряный подстаканник, сахарница, - все на месте, все так, как будто вчера только мы вышли, отсюда.

После чая обегаем весь дом, наслаждаясь его видом, проверяя и там все ли так, как мы это помнили. Заглянули и в альбом в гостиной на столе. В нем папа рисует, в длинные зимние вечера наши портреты. Все как живые. Мама даже красивее, чем на самом деле. Ее большие серые глаза немного грустны. В них мерцает, прячась от посторонних, тихий, углубленный в себя и неразгаданный свет. Портрет Володи не особенно удался.

Он выглядит насупленным, как бы о чем-то глубоко размышляет. А у меня глаза черные, как уголь, с белыми точками. От этого они кажутся блестящими. Очень похоже. В папиной рабочей комнате стружки около столярного станка. Он опять что-то мастерит. Папа всегда выдумывает новые вещи, каких нигде нет. Так в прошлом году он сделал маслобойку. В ней масло сбивается скорее и легче, чем в обыкновенных. На письменном столе у папы по-прежнему листы бумаги заполненные рисунками и цифрами. Это проект картофелекопательной машины. Над ее изобретением он давно уже работает, но никак не может добиться желаемого результата. Там же на столе газета "Киевлянин" и целая кипа, за несколько лет, журнала "Сельский Хозяин". Папа его читает, стараясь пополнить пробел в его знаниях по агрономии. Здесь я хочу рассказать поподробнее о моем отце.



Александр Рыбников

Он принадлежал к числу крупных помещиков. Довольно высокого роста, худощавый, с длинной бородою, с открытым, чистым лбом и с большими пивного цвета глазами, смотревшими с кротким доверием на окружающий мир, папа по внешнему виду походил на изображения библейских угодников со стен древних церквей. По натуре же он был жизнерадостный, легкомысленный, любил веселую жизнь, людей. Своею особенною деликатностью, мягкостью и застенчиво-сдержанными манерами, он ясно отражал главную черту его характера - благородство. Папа был неделовой, хотя ни сам себе и никому другому он в этом признаться не хотел. Евреи называли его "наш батько", явно злоупотребляя его великодушием. В торговых делах с ними он, казалось, больше заботился об их выгоде, чем о своей. Часто, когда их выгода была слишком высокой, а его убыток пропорционально низок, он в утешение себе и в оправдание им говорил:

- Надо же и им что-то заработать. Они ведь с этого живут.

То же самое было и с мужиками. Подловит его где-либо, мужичок и начинает:

- Барин, я к тебе как к отцу родному, да боюсь и сказать.

- Ну, что там у тебя, голубчик, говори, - одобряет его папа.

- Не гневайся, заехал это я давеча в лес, да дровец малость нарубал, а лесники и поймали. Правляющий в суд хочет подать, - жалобно говорил мужик:

- Нехорошо брат, нехорошо. Ничего не могу сделать. Сам посуди, если каждый из вас будет ездить в лес да рубить сколько ему захочется, то от леса ничего не останется.

- Барин, больше не поеду. Ей Богу, не поеду, вишь детки малые, в хате нечем топить, плачут.

- Эх ты, незадачливый какой. Ну ладно, на этот раз прощу. Но смотри, чтобы больше этого не повторялось, а то плохо будет.

- Спасибо, отец родной, спасибо и провались я на этом месте, коли еще раз пойду.

- Ну хорошо, хорошо, - и папа, писал записку управляющему прекратить дело.

- Александр Рафаилович, что это вы делаете! - говорил прибегающий управляющий, - мужик этот заведомый вор и пьяница. Дрова он-то завез не себе, а в кабак за водку, а вы поощряете. Лучше в дела с мужиками уж не вмешивайтесь, пожалуйста.

Но если папа что-то пообещал, то кончено. Своего слова он никогда не нарушит. Но зато, если мужик рассердит его дерзостью требования, или явным обманом, то папа, всплыв, без лишних слов с горящими гневом глазами, хватает его за шиворот и пинками выставляет вон за двери, приговаривая:

- Вон мерзавец, вон подлец! Чтоб твоего духу здесь больше не было!

После этого папа долго ходит, все ходит, кряхтит, ни на кого не смотрит. А мужики, почесывая затылки, говорят:

- Это уж какая планида на него найдет.

По образованию папа был математик. Но попал он на этот факультет, вероятно, по недоразумению, так как сухая математика не вязалась с его увлекающейся, артистической натурой. Из университета он вынес не столько знаний по математике, сколько идей либеральных и вольнолюбивых. Не перенося мысли о каком-либо вмешательстве государственной власти в частную жизнь человека, он, несмотря на свой патриотизм, шутливо называл себя анархистом. За год до окончания он вышел из университета, женился по любви и навсегда засел в деревне.

Вдали от культурной жизни и людей, он сильно затосковал и даже начал попивать, но скоро бросил и увлекся идеей перестройки Ромеек на коммерческий лад.

Предприятия его часто принимали неожиданные обороты. Так показалось папе, что Ромейки подходящее место для рыбного хозяйства. По собственным чертежам и вычислениям, он соорудил целую серию прудов, соединенных плотинами, канавами, насыпями. На одном пруду даже поставил нам купальню. Купил мальков и рыбы - карпы королевские развелись и кишели в прудах. Мужики их потихоньку подлавливали но это делу не мешало. Нам они надоели до отвращения, а сбывать рыбу было некуда. В ближайших маленьких местечках потребителей было так мало, что отправка туда не оплачивалась. Единственным местом сбыта мог быть город Ковель, но лежал он в ста верстах от Ромеек, доставка туда требовалась систематическая, в большом количестве и по железной дороге. Это было сложно, дорого, а папино рыбное хозяйство до такого уровня и порядка еще не дошло. Дело откладывалось, пока одной зимой мороз хватил такой, что вся вода в сравнительно неглубоких прудах замерзла, а с нею и все карпы.

Бедный наш папа, не имея опыта, не мог всего предвидеть.

Но не все дела так печально оканчивались. Одно время, папа целыми днями, до изнеможения ходил по полям и болотам с землемерной целью и инструментами. По выработанному им плану целой сети каналов в Ромейках была произведена осушка всех земель. Это весьма расширило пахотную площадь и высоко подняло стоимость имения. Но больше всего и всю жизнь папа увлекался лошадьми. Он мечтал вывести какую-то свою, особенно быструю породу их. Одно время развел лошадей целые табуны, так что трудно было за всеми ими усмотреть. Часто молодые лошади были в диком состоянии, бегая целое лето в кошарах, а зимой стояли без проездов и пользы в конюшнях. Трудно верить до чего иногда доходило.

Жеребцы предназначенные нам для выездов, застаивались без тренировки в конюшнях целыми неделями. Запрягать их было трудным и рискованным предприятием. Особенно когда запрягался четверика в ряд. Каждая лошадь выводилась под уздцы двумя кучерами. Выйдя на двор после долгого заточения, жеребцы с пеной у рта дико поводили глазами, и подымаясь на дыбы, вырывались из рук. После долгих усилий, каким-то чудом, все четверо впрягались, но каждого все еще держало под уздцы двое человек. Бесстрашный Юрко влезал на козлы и по данному сигналу, люди отскакивали в сторону. Четверик, взвившись на дыбы, бросался вперед и бешено мчался пока не налетал на какой-нибудь столб, стенку, дерево. Дышло сломано, повозка перевернута, Юрко кубарем волочится по земле, не выпуская вожжей, стараясь удержать на них вырывающихся лошадей. Подбегают люди, хватают удержанных Юрком и ловят убежавших. Опять запрягают, и опять то же самое. Пробы эти продолжаются до тех пор, пока лошади выдохнутся и успокоятся. Тогда их впрягают в новый, еще не поломанный, экипаж и подают к крыльцу нам для выезда.

- Вот не умеют они обращаться с лошадьми. Лошадь - это благороднейшее животное на свете. Они, как дети. К ним надо подходить с лаской и любовью, а не штурговать, - говорил при этом с досадой папа.

Он лично вытренировал своего любимца "Разбойника", родоначальника нескольких поколений "Разбойников".

Папа сам любил править лошадьми и иногда предлагал повезти нас покататься, особенно зимой на санях.

Когда разогнав лошадей во всю мочь, он, на слегка натянутых вожжах, въезжал в деревню, там уже знали.

- Барин едет!

Всеобщая паника. Вопит хор собак. Неистово кричат куры, хлопают крылья, летят перья. Дети жмутся к стенкам хат. Мужики качают головами, а папа, ничего не замечая, кричит:

- Смотрите, вы только посмотрите! Вот разошлись, вот идут! Эх, милые!... и мы летим, летим, летим. Борода папы развеивается на обе стороны, мелькают хаты, комья снега, хвосты коней, визжат полозья, ветер бьет в лицо.

\*\*\*\*\*



Был 1905-ый год. В один осенний вечер мы с Володей, лежа около папы на диване, слушали, как он читал нам не сказки, а роман Сенкевича, "Огнем и Мечом".

- Барин, клуня горит! - крикнула появляясь горничная.

На дворе, когда мы выбежали, было видно как днем. Мне показалось, что горит флигель. Его широкие окна пылали отблеском огня, горевшей вдалеке клуни.

Сначала можно было подумать, что это был несчастный случай, но, когда начали гореть одна за другой скирды на полях, стало ясно, что эти пожары были делом рук мужиков.

Недели две спустя наш управляющий, сидя при зажженной лампе у окна, выплачивал рабочим деньги. Кто-то, спрятавшийся в их толпе, выстрелил в него из охотничьего ружья. К счастью, дробь рассыпалась, только слегка, царапнув его голову.

- И к чему все это идет? Что это будет? - тревожно говорил папа, как и все тогда в России.

Это было время, когда, как предвестники, по всей стране пробегали волны восстания.

\*\*\*\*\*

Первое время, каждый отъезд в Мариинское я переживала как настоящее горе.

Несколько ночей перед этим я спала тревожно, часто просыпалась с испугом: "Может быть уже, не сейчас ли?" и плакала.

В день отъезда вставали до рассвета. Это действовало особенно удручающе. Я просыпалась раньше и лежа чутко прислушивалась к бою часов и к звукам пробуждающейся жизни в темном, погруженном в сон доме.

Сначала где-то стукнет дверь, потом все затихает. Вскоре в кухне послышится движение; Затем в столовой кто-то передвинет стул, зазвенит посуда, забренчит выдвигаемый из буфета ящик, и через несколько минут из спальни родителей донесется тихий говор. По моему телу пробежит дрожь, как от холода. Оно и холодно на дворе, почти слышится, как за окном трещит мороз. Спустя некоторое время, через мою комнату тихо пройдет папа. Милое лицо его освещено снизу дрожащими бликами свечи, которую он осторожно несет в закапанном стеарином подсвечнике. В столовой он что-то скажет горничной, наверное о лошадях, хотя распоряжения Юрку уже даны с вечера. Я лежу свернувшись калачом, как будто бы сплю или, как будто бы меня нет. В столовой становится шумней. Громко бурлит самовар и в мою комнату горничная вносит зажженную лампу.

- Вставайте, барышня, пора, чай готов.

С нами в Антоновку едет мама, чтобы усадить в поезд. На дворе так жутко и темно.

Лампа, поставленная на окно в передней, освещает откинутую в санях полость, спину Юрка в кожане, крупы лошадей, их завязанные узлами хвосты.

Папа, сойдя с крыльца, обходит вокруг сани, проверяя, хорошо ли мы уселись, поправляет полость на наших ногах и, отступив, говорит:

- Ну, с Богом, трогай, Юрко! - и вдогонку добавляет: - Смотри, осторожно на своринском мосту!

В вагоне я стою, тыкая носом в стекло окна и гляжу, не отрывая глаз, на маму. "Надо

удержать ее в памяти" - думаю я, "надолго, навсегда, вот так как она стоит сейчас и рассеяно слушает, что-то ей говорящего, начальника станции". На платформе пусто, только ветер гонит редкие снежинки да рвет с плеч мамы длинное, пушистое боа. Третий звонок и мама, не шевелясь, начинает медленно отодвигаться назад. Еще раз мелькнул кончик ее боа, и снежинки быстрее закружились за окном.

\*\*\*\*\*

После возвращения с каникул, я первым делом, как и каждая ученица, должна была отправиться в бельевую. Там все переодевались во все казенное. Эта внешняя перемена всего нашего вида вполне соответствовала перемене внутренней, происходившей в нас благодаря коренному изменению всего образа нашей жизни. Выдавалось нам все, начиная с форменного платья, пальто, шапочки, ботинок, белья, кончая носовыми платками, гребнем, зубной щеткой. Своего ничего не позволялось иметь. Наша казенная одежда была весьма необыкновенного фасона. Юбка форменного платья у пояса спереди была гладкая, а сзади собранная. Длинной она доходила почти до пола. Лиф с длинными узкими рукавами, плотно обтягивал стан. Стоячий воротничок, подходивший к самому подбородку, был туго накрахмален и немилосердно резал шею. Ботинки были почти мужского фасона с ушками и резинками по бокам. Над нашим, несоответствующим моде, видом подсмеивались. Но мы были горды и своею формою и своим училищем.

Надо отметить, что Мариинское училище было, почти единственно в своем роде среди других закрытых учебных заведений России. Основано оно было в Холме - главном городе области, хоть и находившейся в "Привисленском краю" (Польша), но населенном русскими. Целью Мариинского было насаждение и поддержание там русской культуры и быта. В этом направлении воспитывались девочки, будущие матери новых поколений. Годы проведенные в старших классах Мариинского, кажутся мне самую счастливою порою моей жизни. Никогда потом не жилось так беззаботно, никогда не имелось таких близких и искренних подружек как там. А в рамках строгой дисциплины, порядка и организованного умственного труда ощущалось, хоть и бессознательно, большое удовлетворение.

Я начала хорошо учиться. Даже преподавательница немецкого языка была довольна мною; а она отличалась не только строгостью, но и требованием чисто немецкой аккуратности. Тетрадка немецкая должна была быть обернута в светло серую бумагу; на ней на ленточке приклеивалась промокательная, и не дай Бог, чтобы где-либо была клякса, или даже черточка или точка поставленная не на положенном месте. Вначале каждого урока наша преподавательница взойдет на кафедру, обведет класс испытующим взглядом и сразу же увидит, кто не выучил урока.

- А ну, фрейлен Рыбникова, коммен зи хир битте, - и начинает спрашивать не только заданный урок, но и слова и грамматику и все, от начала до конца.

В младших классах я так боялась этих вызовов к доске, что, как бы хорошо я не выучила урока, от страха на меня какое-то затемнение находило, и я ничего не могла ответить.

Все эти трудности я в старших классах преодолела. Хромала только немного по математике. Но зато по русскому языку я вышла на первое место. По-моему, причиной этого было мое увлечение преподавателем этого предмета.

- Господа, послушайте, что я узнала от Марии Ивановны во время каникул. К нам назначен новый учитель русского языка. Он только что окончил университет и волнуется, как мы его примем. Подумайте! Как он будет бедный стесняться, один среди нас всех. Давайте поддержим его. Сделаем вид что он нам очень нравится. Все равно какой он там. Согласны? - говорила я, волнуясь, моим подругам в первый день, после возвращения с каникул.

- Конечно, конечно, - хором отвечали они, заразившись моим увлечением. - Встретим его приветливо, будем улыбаться, чтобы он понял, как мы хорошо к нему относимся. Он наверное, наверное, "душка".

- Да, я тоже так думаю. Вот интересно, - все больше увлекаясь, восклицала я. Новый учитель оказался жгучий брюнет, довольно высокий и тонкий с большими черными глазами и не такой робкий, как мы себе его представляли. Глазами своими он очень гордился и кокетничал. Во время урока, вдруг ни с того, ни с сего прервет речь, станет в позу и, поглядывая на учениц, начинает не то, чтобы вращать глазами, а как-то странно заставляет глаза мелко, мелко дрожать, отчего они словно бы искрились. От этого мне всегда делалось неловко и стыдно за него, и я даже не могла смотреть; Мне почему-то вспоминались глаза наших ромейских жеребцов, когда их выводили под уздцы из конюшни. Несмотря на это, я упрямо продолжала внушать себе и другим, что он "душка", и что мне очень нравится.

- Лида, ты знаешь как все в Мариинском называют Ипполита Викторовича? - спросила меня Ксения.

- Нет, не знаю, а как?

- "Карандашик", - ответила она.

- Что-о-о? - возмутилась я, - как тебе не стыдно повторять глупые прозвища. Забыла что ли, как мы обещали к нему относиться? А они пусть лучше на себя посмотрят: они-то какие красавицы!

Через месяц Ипполит Викторович задал нам классную письменную работу. Разбирали Карамзина: "О любви к Отечеству и Народной гордости". Я расписалась на десяти страницах.

Соразмерно с моим прогрессом в русском языке, прогрессировало и мое увлечение его преподавателем.

Часто у нас устраивались "музыкально-вокально-литературные" вечера. На них ученицы декламировали, пели, играли на рояле. Ставились отдельные сценки из Гоголя, Басни Крылова. Вечера эти обставлялись парадно.

Ученицы, переодевшись в новые форменные платья, в белоснежные переднички и пелеринки, выстраивались, (как и всегда при входе в столовую или залу), парами вдоль всего коридора. Классные дамы внимательно оглядывали: блестят ли ботинки, чисты ли уши и ногти, гладко ли причесаны волосы. Никаких завивок, взбитых причесок и бантиков не позволялось.

После проверки входили парами в ярко освещенный зал. Он и сцена, устроенная в конце его, были украшены пальмами, олеандрами, и цветами из оранжерей. Через всю залу протягивался широкий ковер. В передних рядах сидели почетные гости. Им подносились в разрисованных обложках программы. Многие из них рисовала я, так как была одна из

лучших по рисованию. Наиболее старательно нарисованную я, перевязав ее широкою лентою, подготавливала украдкой Ипполиту Викторовичу.

Чувствуя себя смелее, в парадном виде, и с запрещенным бантиком в волосах я, подавляя робость, поджидала своего кумира у входа в зал. При его появлении вытягивала, спрятанную под пелеринкою, программу, и молча подносила ему, приседая в глубоком реверансе.

- Как хорошо нарисована, и особенно красивы глаза у этой головки. Они будут всегда мне напоминать другие, - сказал однажды, лукаво улыбаясь, напрасно стараясь заглянуть в мои, прикрытые опущенными ресницами, глаза.

Этого было достаточно, чтобы придать моему "обожанию" еще более сильные и уверенные формы.

Вечерами в кровати, я, сгорая от стыда, воображала себя с ним в разных романтических сценах, похожих на вычитанные в романах. "Вот я иду легкой походкой, как Наташа Ростова, по дорожке сада. С обеих сторон ее благоухает сирень. Ночь, луна, соловей - все как полагается. За моими плечами развеивается, как крылья, небрежно накинутый газовый шарф. Быстро мелькая, я то исчезаю в тени кустов, то выступаю в промежутках между ними, как видение, облитая лунным светом. И вдруг - Ах! - на перекрестке дорожек сталкиваюсь со всей силой с "ним" и прямо попадаю в его объятия...

"Пустите", шепчу. А сама совсем не хочу, чтоб он отпустил меня. Он и не пускает, а притягивает ближе к себе и я чувствую его губы на моих... Задыхаясь от блаженства, открываю глаза. В длинной, полутемной спальне - тишина. Только под потолком светится, затемненная абажуром, ночная лампа. Подруги мои давно и спокойно спят. "Боже мой! если бы они знали, как я развратна - думаю я, - но нет, никогда и никто на свете этого не узнают".

Успокоенная, я поворачиваюсь на другой бок и, мечтательно улыбаясь, засыпаю. На другой день не смею поднять глаза на "него", наконец решившись, думаю: "нет, не такой, как я воображала, а все же душка!"

Самым интересным днем в году был престольный праздник нашей Варваринской церкви, 4-го декабря. Я особенно любила вечернюю службу в церкви. Свечи горели не только у икон, но и на карнизе под куполом, вокруг все церкви.

Священник просто и проникновенно читает молитвы. В ответ ему церковь наполняется пением, скрытого вверху за балюстрадой, хора. Торжественно и дивно звучит, то подымаясь вверх к небесам, то опускаясь вниз к земле, "Отче Наш" Архангельского. Служба долгая. Под конец чувствуется усталость. Хор также, словно утомившись, поет все тише и тише: "Свете тихий, Святые Славы"... Свечи догорают и чувство мира, спокойствия и дремоты предстоящей ночи охватывает всех.

Утром архиерейская служба. Совсем иная - величавая, символическая.

Днем большой обед. Гусь жаренный, конфеты, мороженое. Вечером бал для старших классов. Сколько волнения, беспокойства.

- Ксения, завяжи мне сзади бант от передника.

- Шура, у тебя есть пудра? Я тебе дам духов. Подержи два пальца, я завяжу на них бантик.

- Да зачем он тебе, ведь нельзя же.

- А я спрячу под пелеринку, а после осмотра приколю.

Входим парами в зал. Вдоль стен стулья. Все рассаживаются, а мы с Шурой не хотим. Стали у колонны и дальше ни шагу.

- Что вы стоите, идемте, сядем, вот прилипли к колонне, - тянут нас подруги.

- Не пойдём, - шепчем мы.

- Почему же, что будете здесь стоять так?

- Да, лучше будем стоять, чем там сидеть под стенкой, как на выставке.

Между тем военный оркестр уже играл штраусовский вальс, и молодые люди стали подходить и приглашать. Неожиданно, я увидела молодого человека, который решительными шагами направлялся в нашу сторону. "Не может быть, чтоб это он ко мне", испуганно подумала я. Шура красивее, у нее нос ровный, а у меня курносый... Ах!... Он поклонился мне и ждет.

Шура подтолкнула меня сзади, и вот я закружилась с ним по скользкому паркету.

Первый раз в жизни мужская рука обхватывала мою талию, а другая сжимала мою.

- Вы первый раз на балу, в каком вы классе? - спрашивает он.

Мое же внимание было сосредоточено на одном: чтобы как-нибудь по неосторожности или по другому чему-то, он не притянул бы к себе поближе. Ученицы старших классов нас предупреждали, что на прошлом балу один так прижал к себе Тамару, нашу красавицу, что она чуть не расплакалась и, хотя не была виновата, но после этого многие в Мариинском ее долгое время "презирали".

Вальс кончился и мой кавалер отвел меня на место и, поклонившись, ушел.

Взволнованная, я схватила Шуру за руку и потащила ее вон из зала.

- Ах, Шурочка, если бы ты знала, как я стеснялась, как я стеснялась: в голове кружилось и все кругом крутилось, почему не знаю. Он... Он... Что он обо мне подумал, только он больше наверное меня не пригласит... Идем лучше, идем отсюда.

- Да идем, я тоже не хочу здесь больше оставаться, - обиженно согласилась со мной Шура, - пойдём лучше в буфетную. Там по крайней мере есть бутерброды, пирожные и мороженое есть.

Для успокоения и утешения мы, проглотив несколько пирожных, уселись с ней на диванчике в одном из классов, превращенных в гостиные.

- А ты танцевала? - спросила я.

- Нет. Кругом подходили, приглашали, а я и глаза боялась поднять. Думала, если посмотрю, то кавалер подумает, что я напрашиваюсь и умираю от желания танцевать с ним. У меня тоже свое самолюбие есть, как по-твоему?

- Лида, Шура, куда вы исчезли? - сказала, входя Ксения. - Вас там кавалеры спрашивают, идем в зал.

- Не пойдём. Сидеть там под стенкою, как куклы в лавке... Нет! Если кто хочет, то может и сюда прийти. Вот и все, - заявили мы.

Это было так убедительно, что Ксения и другие присоединились к нам. Никто из нашей компании в залу под стенку не ходил, а кавалеры должны были нас отыскивать в гостиных.

Последняя весна в Мариинском. Хотя она и в полном расцвете, но для нас мучительная, и мы ее не замечаем: экзамены на аттестат зрелости.

Все мы, выпускные, поодиночке рассеяны по самым укромным уголкам: в нишах окон, в глухих, отдаленных коридорах, в густой траве сада. Каждая, напрягая все силы, старается в три-четыре дня, данные на подготовку к каждому предмету, повторить весь его курс. Девочки других классов, глядя на нас с уважением и сочувствием, шепчут "выпускные".

В зале с наглухо закрытыми окнами, расставлены далеко одна от другой скамейки. В

конце залы стол, покрытый зеленым сукном. За ним целый синедрион учителей во главе с начальницей похожей, как мне казалось, на Екатерину Великую.

После письменных экзаменов скамейки убираются и от этого тишина пустой залы становится еще более гнетущей и торжественной.

Когда, подавляя волнение, я шествовала через всю длину пустой залы, направляясь к зеленому столу, кто-то открыл окно.

Победоносно, радостно ворвался в зал громкий шум весны и я, нехотя глубоко вдохнула свежую, живительную струю воздуха, и почему-то сразу подумала: "Сейчас провалюсь, алгебра - мой самый слабый предмет"... И действительно, напрасно я стараюсь удержать, куда-то улетающие мысли. В голове, пусто, как метлой вымело. Испуганно молчу.

- Рыбникова, что с вами? - вспомните, ведь я еще вчера объяснял вам эту формулу, - прозвучал, словно издали, голос Ипполита Викторовича.

- Ах, да, помню! - начинаю выводить формулу: - ...равняется, корень квадратный. "Странно", мелькает вдруг мысль, как это "он" мог угадать, что я именно этот билет вытяну. Вчера вечером неожиданно зашел к нам в класс и объяснил эту формулу... продолжаю... - равняется -  $x$  в... "а, дальше что? И что это все значит?" Останавливаюсь, тупо глядя на доску, как бы в первый раз увидела и подумала о значении всех этих знаков и цифр.

- Да, ведь, вы уже столько раз это делали и знали, подумайте, - говорит учитель математики. Все сочувственно стараются навести меня на мысль, даже подсказывают, но от этого я еще больше теряюсь. Бездумно, безнадежно стою я у доски, кроша дрожащими пальцами мел, опадающий мелкими кусочками на паркетный пол.

Потом, при торжественном вручении аттестата мне сказали:

- Ваше сочинение по русскому языку было очень хорошо написано. Мы отослали его, как образцовое, в округ. Если бы не ваш провал по устной алгебре, то вы, окончили бы по крайней мере с серебряной медалью. Нам очень жаль.

А мне было все равно. Печально думала я, что никогда больше не увижу Ипполита Викторовича. Уезжая, одна из последних, я с болью в сердце оглянулась на знакомые ряды окон, за которыми прошли первые и лучшие годы моей юности.

## [Глава 2](#)